

Михаил КУРАЕВ

## ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Люди строгих правил, непреклонного характера, готовые во имя своих убеждений жертвовать собой, готовые идти на страдания ради своего дела, наверное, есть и сегодня такие, только они не на виду. Быть может, хотя бы поэтому нам стоит не забывать наших удивления достойных предков, среди которых протопоп Аввакум никак не может подлежать забвению. Для его единоверцев он светоч и костер, на котором его сожгли, неопалимая купина, и свет ее простирается уже на три с половиной века. Для нашего же брата, людей, пишущих по-русски, это творец, создатель сочинений, обжигающих силой слова и красотой слова.

«...Не позазрите просторечию нашему понеже люблю свой природной русский язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет».

Это из первых строк его вступления к «Житию», рассказу о деле своей жизни.

И какая восхитительная дерзость свое жизнеописание поименовать «Житием», отнести его к жанру, повествующему о подвиге прославивших веру и церковь! Нет, в отличие от нынешних мастеров так называемой полу исповедальной, полу биографической прозы, Аввакум, заточенный на долгие годы в заполярной земляной тюрьме, пишет какими-то незамерзающими чернилами о деле своей жизни, дабы оно, оплаченное всей его жизнью и жизнями единоверцев, не было предано забвению. Отсюда и начальное напоминание: «...не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет».

Протопоп Аввакум. Патриарх Никон. Государь Алексей Михайлович. Церковный раскол. Не заживающая и по сей день рана, распря, унесшая тысячи жизней православных христиан, наших многострадальных предков...

Не имея ни сил, ни призвания рассуждать о том, чье благочестие истинное, приверженцев старого обряда или принявших обновленный обряд и обновленные богослужебные книги, что Небесам угодней двуперстие или трехперстие при крестном знамении, «тройная» аллилуйя или «четверная», почту для себя за честь в четырехсотлетнюю годовщину со дня рождения Аввакума хотя бы в кратких словах воздать должное автору бессмертного «Жития», создавшего один из непревзойденных образцов великой русской литературы.

В собрании древнерусской литературы, в «Изборнике», большинство текстов дано с переводом на понятный нынешнему читателю язык. Написанное Аввакумом в переводе не нуждается, как это касается текстов XI—XIII веков. При этом «словарь» Аввакума — это словарь XVII века, в нем, естественно, присутствуют слова, выпавшие, подчас, к сожалению, из обихода.

---

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет ЛГТИ им. А. Островского. С 1961-го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт-Петербурге.

Слова исторически претерпевают изменения. Слово всего лишь перевозчик смысла, повозка, а в повозку иногда попадает и новый груз. Так слово, в современном языке означающее гулящую, непотребную девку, звучащее грубо, бранно, у Аввакума означает лишь «ложь», иначе не понять простую фразу, отвергающую грамоту, несущую поползновения «латинцев», на власть над православными: «А сей римской блядью гузно тру». Для обозначения блудницы слово несколько иное, хотя в основе все та же «ложь».

Опять же вполне нам знакомое слово «виновные», но в контексте «Жития» оно употреблено с непривычным для нас смыслом, как «надлежащее», «приличествующее». Надо думать, уже тогда слово было многозначным, «повозка» искала свой смысловой груз, и потому сам Аввакум считает необходимым пояснить: «виновные, сиречь похвальные».

Но выразительность, сила языка, на каком изъяснялись Аввакум и его современники, вызывает восхищение и даже зависть. Не претендуя на роль исторического лингвиста, как обычный читатель, читаю и сравниваю. К примеру, такое утверждение: «еже не быти — несть». Смысл ясен, а перевод на нынешний обиходный язык звучал бы так: «не существующее — не существует». По сути дела — тавтология. А само слово, расплывшееся шипящее «суще-ству-ю-ще-е» какое-то казенное, протокольное оповещение. А что же «еже не быти — несть»? Кратко, энергично, утвердительно. «Быти» — бытие! Это уже категория философская. И вбито, как гвоздь. Да взять хотя бы уже приведенную выше фразу из предисловия к «Житию»: «...виршами философскими не обык речи красить». Сказал, как припечатал. Притязавших на мудрствование поставил на место с их «виршами»... А переведите на сегодняшний язык: «...Не имею обыкновения украшать свою речь философскими стихами(?)». «Вирши» по-польски «стихи», но в наш язык слово вошло с иронической окраской. А сравнить «не обык» и «не имею обыкновения»? Первое — как удар в споре, второе — что-то жеманное, с преподнесением себя с некоторой торжественностью, простой человек о себе не скажет «не имею обыкновения». А у Аввакума в пяти словах и твердая позиция, и решительный характер.

И спор его не диспут, а рубка. Как петь аллилуйю, дважды или трижды?

Поскольку «аллилуйя» в переводе с ангельского, как трактует Аввакум, на человеческий «слава тебе, Боже!», то дважды произнесенное «аллилуйя» с добавлением «слава тебе, Боже!» складывается в установленное «от святых отец» тройное воспевание Бога. А «новолюбцы», ведомые патриархом Никоном, стали «троить» аллилуйю с прибавлением «слава тебе, Боже!». А кто позволил? Вот и ответ: «У святых согласно, у Дионисия и Василия, трижды воспевающе, со ангелы славим Бога, а не четырежды, по римской бляди; мерско Богу четверичное воспевание... Да будет проклят сице поюще». И весь разговор! А кто не знает слова «сице», сам уразумеет, что это означает «так», «таким образом».

Образованность сына деревенского священника из нижегородского села Григорова, знавшего на память великое множество однажды прочитанных текстов, не говоря о псалмах и молитвах, достойно удивления. С первых строк Аввакум не то что крушит, а просто не замечает, знать не хочет каноны житийной литературы. К примеру, герою «Жития» полагается иметь родителя «милостиволюбивого и человеколюбивого», разумеется, «кроткого и учительного». Но Аввакум пишет, как есть, а не как надо. Об отце своем он скажет исчерпывающе и кратко: «отец же мой прилежаще пития хмельного», многому ли у такого научишься, впрочем, грамоте обучил. Вот мать, «постница и молитвеница бысть, всегда учаше мя страху божию», скажет Аввакум, но не скажет, каким трудом ему удалось впитать в себя во всей полноте и святой, по его убеждению, неприкосновенности веру отцов и прадедов, «святых апостол и богоносных отец».

Как не поразиться такому, казалось бы, невероятному сочетанию в одном лице, в одной душе непреклонного блюстителя традиции, готового «умереть за аз единый», чтобы исполнение церковного ритуала и молитв не менялась ни на шаг, ни на звук, ни на букву, поборника веры по старым заветам и гениального писателя, опередившего в своем творчестве литературу на два века вперед! И речь об этом впереди.

В исповедании веры он был нестигаем, ни премудрым книжникам, ни иерархам высшего разбора не удавалось опровергнуть его доводы в защиту своих убеждений. Вот и приходилось властям предрержавшим прибегать к испытанной аргументации от кнута, дыбы, голода и разного рода мучительства. Нам трудно сегодня представить эти дебаты между Аввакумом и принявшими церковное обновление. Известно только, что его оппоненты подчас завершали спор о вере матерно и отправляли либо в недалекие монастырские тюрьмы, на Воробьевы горы, к примеру, либо, наконец, на долгие годы в сибирские или заполярные непролазные края.

Одиннадцать лет ссылки в Сибири под началом зверонравного воеводы Пашкова не убедили Аввакума в благочестии новшества от патриарха Никона. Вот после недолгого возвращения в Москву уже на пятнадцать лет для вразумления упекли на Печеру, в Пустозерск, селение по нынешней географии где-то недалеко от Нарьян-Мара. Но и там в земляной тюрьме не сподобился упрямый протопоп, впрочем, уже лишенный сана, предписанной властью благодати. И, наконец, власти как церковные, так и светские приходили к единому мнению о том, что в качестве неопровержимого доказательства своей правоты оппонента надо сжечь заживо в срубе. Что и было исполнено по предписанию молодого государя Федора Алексеевича «за великие на царский дом хулы» 14 апреля 1682 года.

Впрочем, не то чтобы это «доказательство» власть применяла к избранным упрямым. Принявшая бразды правления после царя Федора Алексеевича правительница Софья повелела «раскольщиков» приводить к новой вере, а троекратно отказавшихся «покориться» — сжигать живьем. Прогрессивный царь-реформатор Петр Великий старообрядцев не жаловал, но взглянул на дело с практической стороны: жечь не надо, а вот обложить «всякие платежи вдвое» и вразумительно, и казне прибыльток.

Славу подвижника веры Аввакум стяжал на поприще проповеди, обличая злоупотребления церковных иерархов и государевых слуг. В пору служения и в Москве, и в Сибири проповеди Аввакума собирали столько народа, что другие церкви пустели. А почему? Да потому, что в проповедях «лишние слова говорил, что не подобает говорить». Гремел протопоп: «Везде в начальных людях, во всех чинах нет никакой правды!» Да еще и никоновскую церковь называл «разбойничьим вертепом», «уни-мал попов и баб от блудней».

Помнил Аввакум мучеников во Христе, помнил Захарию, лишившегося головы прямо в церкви за обличительные проповеди, но гремит голос поверженного протопопа из тюремной ямы: «Станем, братие, добре, станем мужески, не предадим благоверия! Аще и покушаются никоняне нас отлучити от Христа муками и скорбями: да статочное ли дело избидеть им Христа? Слава наша Христос, утверждение наше Христос, прибежище наше Христос».

Знал отчаянный проповедник, что суровые проповеди, его непреклонное требование исполнения заповедей и правил церкви восстанавливают против него и духовенство, да и прихожан, жаждущих необременительно достичь Царствия Небесного. Одни с ним спорили, другие били, за волосы из церкви выволакивали, и воевода, исчерпав свое начальственное терпение, дважды стрелял в него из пистолы. Только осечка и спасла неумного попа.

А говорил то, о чем другие молчали. Потому и народ стекался.

Только какая же власть такое допустит, таких надо держать далеко от Москвы. Впрочем, сначала гнали не очень далеко, в Спасо-Андроников монастырь, посадили на цепь, били, морили голодом. Сажали в телегу на цепи, «растения руки, яко распятого». Возили по городу с расчетом напугать народ и укрепить простых людей в истинной вере, а выходило, что в народе-то как раз к славе проповедника еще добавилось и почитание мученика.

А в Пустозерске, кроме союзников с вырезанными языками да стражников, не к кому было прирожденному глашатаю обратить свое слово, здесь-то и взялся за перо непокорный приверженец церковных правил и молитв, утвержденных праотцами.

Нынче разыскано около девяноста сочинений, принадлежащих Аввакуму, и едва ли десяток были написаны до пустозерской ссылки. Все остальное, в том числе и знаменитое «Житие», было написано в земляной яме при свете коптилок и свечей.

Разумеется, без сочувствия и поддержки множества людей, в том числе и своих стражников, слово Аввакума не донеслось бы до Москвы и других городов. Не сохранились бы его творения, потаенно просуществовавшие в списках более двухсот лет.

Удивления достойно, и в этой ледяной тмутаракани Аввакум не чувствовал себя отторгнутым от своей паствы и дела, каковому посвятил свою жизнь до последнего часа. На «большую землю» листы, исписанные Аввакумом, доставлялись рискованными жизнью доброхотами в выдолбленных рукоятках бердышей, в полых деревянных крестах, сработанных союзником умельцем на все руки обитателем соседней ямы Епифанием.

Власти, разведав о «пустозерской почте», решили ее пресечь. Чтобы образумить непокорных, прислали в Пустозерск стрелецкого полуголову Ивана Елагина. По словам Епифания, оставившего свои записки, «три дня нудили всяко сии отступные вещи принять», по-новогречески креститься и молиться. Не убедили и отсекли Епифанию четыре пальца на правой руке, Федору отсекли руку поперек кисти, и языки страсто-терпцам вырезали. Аввакума пощадили, надо думать, не теряли надежды на его примирение, вот и наглядное *увещание* должно было подействовать.

Сегодня в книгах, посвященных нашему удивительному соотечественнику, пишут: «Его литературная деятельность...» Не могу представить себе «литературного деятеля» на пятнадцать лет упрятого христоролюбивой властью в земляную тюрьму на краю земли, в устье Печоры, в краю «тундряном, студеном и безлесном», где лето, дай бог, два месяца в году. При этом «литературный деятель» по вере своей еще и сам изнуряет свою плоть постом и молитвой, предписывает себе за неподобающие мысли и желания тысячи земных поклонов... Нет, тут и казематы Петропавловской крепости, где Чернышевский писал свой роман, а Горький драму «Дети солнца», тут и Рейдингская тюрьма Оскара Уайльда, и узилище, откуда Сервантес отправил в бессмертие «Дон Кихота», даже каторжная омская тюрьма, где зародились «Записки Мертвого дома» Достоевского, да простят мне претерпевшие, покажутся «домом творчества» в сравнении с лютой пустозерской ямой, крытой досками, с дымным очагом.

И как же не вспомнить еще и ньюгейтскую тюрьму, где любимый нами с детства автор «Робинзона Крузо» не только продолжал свою налаженную литературную работу, но мог печатать и распространять свои произведения и даже стал издавать газету, продолжавшую выходить и после его освобождения. Это, как говорится, чтобы почувствовать разницу.

Почему вспомнился Даниэль Дефо, да потому, что именно его, младшего современника Аввакума, почитают автором первого «подлинного» романа из личной жизни в английской литературе. «Подлинного» в «Робинзоне Крузо» не так и много, что несколько не принижает этот памятник мировой литературы. Но четыре года жизни на

необитаемом острове шотландского боцмана Александра Салькирка, послужившие к пробуждению фантазии Дефо, и 28 лет приключений Робинзона на необитаемом острове имеют мало общего. В подлинной истории герой одичал, в литературной версии — духовно возродился. Так открывались в литературе пути «реалистического вымысла».

Не могу применительно к автору «Жития», «Книги толкований», «Книги бесед», посланий и частных писем приложить именование — писатель, литератор... Высоко чтя нашу литературу, предшествующую явлению трудов Аввакума, почитаю, не предписывая, естественно, этого другим, именно его родоначальником и в самых существенных чертах законодателем реалистической отечественной литературы.

Его наследие — заповедь пишущим по-русски.

Да, «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», по сути дела, первый в русской словесности роман.

Европейская проза, начните хоть с античного Гелиодора с его «Эфиопикой», «Золотой осел» Апулея, это приключенческая проза. И рыцарский роман, плутовской, а нынче авантюрный, криминальный роман по преимуществу занимательное чтение. И речь не идет о том, что лучше, что хуже, что выше, что ниже. Та же переписка Ивана Грозного с беглым князем Курбским — замечательный литературный памятник, запечатлевший и нрав, и время, и облик незаурядных полемистов. Да, это эпистолярная литература, но не проза. Прозой ей еще предстоит стать в эпистолярном романе XVIII века.

Иное дело сочинения Аввакума, здесь впервые, во всяком случае в нашей письменности, дан образец самых существенных черт русского романа, русской прозы: человек, судьба человека, конкретной личности и его современников в контексте неповторимой исторической реальности.

Чтобы оценить сочинение, не вписывающийся в логику «исторического развития» литературы, нужно чуть отступить от уникального памятника русской словесности, чуть оглядеться, а что же было рядом, вокруг.

Известно, самой характерной чертой житийной литературы средневековья была идеализация в изображении героя и следование канону.

Достойны иметь свое жизнеописание лишь реальные исторические лица (подлинные!), наиболее полно они собраны в Степенной книге. Но правила и норма в изображении этих лиц выше жизненных реалий, что даже вызывает улыбку у выдающихся знатоков нашей древней литературы. Реальные исторические персонажи в Степенной книге стали носителями длиннейших речей, молитв и нравоучений, каковые не мог слышать и знать безымянный автор. «Убиваемый Андрей Боголюбский, — пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев в комментарии к Степенной книге, — творит пространную молитву, которую никто не мог слышать, кроме убийц, если бы только они имели терпение ее дослушать».

Ох, умны были наши предки!

Идеализация — величайшее искушение и в семейной жизни, и в политике, и, конечно, в искусстве.

Идеальный муж — счастье в семье. Идеальный политик — и не надо ни о чем думать. Идеальный герой в центре повести или романа — Сталинская премия, хотя бы третьей степени, а выдавалось их в послевоенные годы всех трех степеней более двадцати ежегодно. Судя по достоинству медалей состоялся золотой, серебряный и бронзовый век нашей литературы одновременно!

Во времена, когда отечественной литературе будет строго предложено следовать светлыми путями «соцреализма», несколько скомпрометированный термин «идеализация» или язвительное словечко «лакировка» будут заменены вполне благопристойным термином «художественное обобщение».

И вот Аввакум со своим «Житием» шагнул через века в новейшую литературу, перешагнув через классицизм, романтизм, сентиментализм и даже «художественные обобщения» соцреализма.

Он-то шагнул, но литература, да и сама история не знают прямых путей.

И вот уже в XX веке читателю подносят романы и повести про образцовых, не аскетов и мучеников, а, к примеру, шоферов — «Водители», военачальников — «Полководец», студентов — «Студенты» и достойного подражания героя одноименного романа «Секретарь обкома». Можно лишь удивиться, как новый и «самый передовой» метод в искусстве взял на вооружение, казалось бы, прочно забытое старое.

Помню, как на «Ленфильме» обсуждался сценарий по повести Вадима Кожевникова «Знакомьтесь, Балув!»». Едва ли случайно член нашего худсовета профессор университета и заведующий отделом средневековья в Эрмитаже Матвей Александрович Гукровский поздравил присутствующего при обсуждении автора с возрождением жанра агиографии. Такие вот переключки времен!

В нашей литературе XI—XVI веков, как признавали исследователи, по преимуществу героями были реальные исторические лица или претендующие на историчность: князья, подвижники веры, защитники земли Русской. Но и в этом случае «художественное обобщение», идеализация все равно оставались неотступной нормой для средневекового писателя, чаще всего безымянного. И повести о частной жизни и злоключениях отдельного, рядового человека старались выглядеть как народное предание: «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве», «Суд Шемякин» и т. д. Литература еще не оторвалась от фольклора, еще не стала делом личным. Один из шедевров отечественной словесности XVII века «Урядник Сокольниковского пути», устав соколиной охоты, исполнен, по сути дела, в форме поэмы, — анонимен. Участие в его создании государя Алексея Михайловича, «достоверного охотника», большого приверженца «красной соколиной забавы» и склонного к велеречивому письму, вполне вероятно, но не более.

Авторство в литературных сочинениях еще только заявляет себя.

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» поистине революционный шаг на пути к реалистической литературе. Повествование от первого лица, и лицо это не выдуманное.

Вот хотя бы два авторских сочинения начала XVII века.

«Сказание Авраамия Палицына» — рассказ о событиях 1584—1618 годов об иноземной интервенции и причинах «смуты» — именно «сказание», а не достоверная историческая повесть, как убедительно доказал основатель Исторического музея в Москве достоверный историк Иван Егорович Забелин.

Известен и автор «Повести об Ульянии Осоргиной», повести, созданной в 20—30-х годах того же XVII века. Сын Ульянии Дружина повествует о своей матери, лице вполне частном, погруженном в семью и быт. Повесть безусловна ценна многими подробностями жизни частного человека, и это значительный шаг на пути к гражданской литературе. Но каноны жития не только в стилистике повествования, но и в изображении героини в полном соответствии с нормами обрисовки святых и угодников. Разумеется, Ульяния «от молодых ногтей Бог возлюбил», игры и смех ей чужды, «добротою исполнена и разумом», даже слуг своих наказывает «со смирением и кротостью», по упокоении над могилой ее, как и полагается, творятся чудеса исцеления.

Но не на ровном же месте возникло не только самое «Житие» Аввакума, но и сам независимый дух, смелость отчаяния, готовность идти до конца по вере своей во Всемилостивейшего человеколюбца.

Принято считать, что литературный процесс имеет некоторое поступательное движение — вперед и выше. От былины и сказки к сказанию, от сказания к историческому преданию, от анонимного фольклора к авторским произведениям и т. д. Но в поисках истоков совершенно самобытного, стоящего отдельно от регулярного литературного процесса Аввакумова «Жития», быть может, надо вспомнить некий «предлитературный» жанр, предшествовавший созданию «житийной литературы». Существовали, как читаем в труде академика Д. С. Лихачева «Человек в литературе Древней Руси», «документальные записки, составлявшие как память о святом, — «материалы» к его биографии. Эти записки не претендовали на литературность. Их основная функция — сохранить свидетельства о святом, факты его жизни, его посмертные чудеса и т. д.».

Впоследствии документальность этих «записок», для которых как раз характерно «просторечие», ретушировалась, переводилась на молитвенно-проповеднический язык, обрастала по требованиям жанра «Жития» пафосом и риторикой. От сохранившихся достоверных черт уходили все дальше и дальше к «красноглаголению», к «художественному обобщению», скажем так.

Есть основание предполагать, что от условно «документальных» записок как бы двинулись в рост две ветви: одна ветвь питала традиционный жанр «Жития» и расцвела всеми его, жанра этого, цветами; вторая же ветвь, питаемая «стихийным натурализмом документа», дала бессмертное творение Аввакума. Не располагая необходимыми свидетельствами влияния этих «документальных записок» на выбор Аввакумом своего пути, своего стиля в создании «Жития», ограничусь лишь предположением.

Столь же предположительно могу представлять себе, где находил Аввакум опору своему праву прямо и даже дерзостно обращаться к Силам Небесным, почему и с царями и патриархами говорил так же прямо.

В пору работы на «Ленфильме» я увязался, поскольку не входило в обязанности редактора, в поездку ассистента режиссера в Александро-Невскую лавру, дабы арендовать реквизит для съемок церковной лавки. Паломничество памятное, а забыть его не дает «Краткий молитвослов», книжечка в ладонь величиной и тоньше мизинца, оставшаяся у меня после съемок. Помню, какое впечатление на меня, комсомольца, лишеного благодати веры, произвела «Молитва св. Иоанна Дамаскина» в половину 113-й странички:

«Пред дверьми храма Твоего предстою и лютых помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже, мытятся оправдивый и Хананею помилованный, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человеколюбия Твоего и прими мя приходяща и прикасающася Тебе, яко блудницу кровоточивую: ова убо края ризы Твоя коснувшись, удобь исцеление прият...»

Прочитал и задохнулся, даже не разумея «ова» и «убо».

Вон как они разговаривали с Высшими силами, сознавая лишь то, что их вера дает право на свой путь. Рабы Божьи? Люди Бога своего, но не рабы!

Вот и Аввакум в даурской ссылке, измученный бесконечной пыткой от воеводы Пашкова, почитает себя в праве отчаяния обратиться к Небесам. Заступился за двух вдов, не позволил обречь их насильственным унижительному замужеству, и был подвергнут истязанию, выдержал семьдесят два удара кнутом и возопил, но не о пощаде у озверевшего воеводы, с ним ему говорить было не о чем, подымай выше: «...за что Ты, Сын божий попустил меня ему таково больно убить тому? Я ведь за вдовы твои стал! Кто даст судию между мною и Тобою? Когда воровал, и Ты меня так не оскорблял; а ныне не вем, что согрешил!»

Вот тебе и постник, и молитвенник: «Кто даст судию между мною и Тобою?» Это Кого же на суд зовет отчаявшийся в искании правды на земле протопоп! Не воеводу Пашкова, что за спрос с него, с изверга.

Вот и о первых своих тюремщиках, еще на Воробьевых горах стороживших его вместе со священником Лазарем и старцем Епифанием, что были «обруганы и острижены, как и я был прежде», вспоминает с подлинно христианской снисходительностью: «Поставили нас по разным дворам; неотступно 20 человек стрельцов, да полуголова, да сотник над нами стояли — берегли, жаловали, и по ночам с огнем сидели, и на двор с...ть провожали. Помилуй их Христос!»

Аввакум художник, он очевидец и свидетель этого мира, а для протопопа и миры запредельные, библейские дали очевидны, как день сегодняшний. К примеру, открою «Списание и собрание о божестве и о твари и како созда Бог человека». Открываю. С любого места, вот пересказ грехопадения Адама и Евы. Читается, как говорится, из первых рук, словно все происходило в его присутствии. Никаких сказок, никакой мистики, как было, так и рассказывает.

А дело было так. Вкусили Адам с Евой от заповедного древа, а «смоковь красная, ягоды сладкие» (никаких яблок!), изготовили первый, надо думать, в истории самогон. «Потчивают друг друга зелием нерастворенным, сиречь зеленым вином процеженным (!) и прочии питии и сладкими брашны».

Библия об этом и последовавших событиях деликатно умолчала, и первач приписан Ною, где исходным продуктом был виноград, а не смоквы. Но, как говорится, лично я верю Аввакуму! Что из яблок? Сидр? Кальвадос?

Читаем дальше. «...Ввел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавый хозяин накормил и напоил, да с двора спехнул. Пьяной (Адам. — М. К.) валяется на улице (!), ограблен (!), а никто не помилует. — Про то, как Адам с Евой „скрытася и под древо возлегоста“, пропускаю. — ...Проспалися бедные с похмелья, а но и самим себя сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех, со здоровых чаш голова кругом идет».

Картина!

Судя по тому, что сообщается «и ходящу богу в раи», во время происков Змия-искусителя прародителя Адама и Евы в раю не было, был в других пространствах.

Вернулся, видит безобразия, так достоверно и безжалостно описанное Аввакумом, понятное дело, возмутился: «Что се сотворил еси?» Адам по малодушеству отвечал: «Жена, еже ми сотворил еси, — и прибавил уже совершенно бестактно: — На што-де мне дуру такую сделал».

«Господь же рече ко Евве: „Евва, что ты сотворила еси?“ Она же отвеща: „змия прельсти мя“. Бедные! Все правы и виноватова нет. Вот хорошо: каков муж, такова жена; оба бражники, а у детей и добра нечева спрашивать, волочатся ни сыты, ни голодны...»

А вот свалить вину на жену — поступок не мужской, и Аввакум Адаму выговаривает, поскольку таких, как Адам, встречал немало.

«И ныне похмельные, тоже шпыняя, говорят: «На что Бог и сотворил хмель-ет, весь до нага пропился и есть нечева... Правится (оправдывается. — М. К.) беднотой, будто от неволи так сделалось... На людей переводит, а сам где был? Что на Адама и Евву переводишь?»

Вот к чему клонит свой рассказ протопоп, речь идет о личной ответственности, тема для всех времен из важнейших, особенно в наше время! А что до подлинности, так вспомним, как машинистка, перепечатававшая Томасу Манну «Иосифа и его братьев», возвращая рукопись, поблагодарила: «Наконец-то теперь знаю, как дело было». И про «Бородино» мы достоверно знаем не по отчетам военных статистиков. На то они и художники!

<sup>1</sup> Да это же лубок! Надо думать, тоже источник вдохновения для владеющего «картинным письмом» Аввакума. Предположительно, конечно.



Прочитать бы всю Библию в изложении Аввакума!

Было же Евангелие в редакции Льва Николаевича Толстого, прочему бы не быть Библии в редакции протопопа Аввакума Петрова?

Чтобы самому не впасть в грех «идеализации», надо себе ответить на непростой вопрос: ну, а если бы победил в том давнем споре Аввакум и его приверженцы? Да, какой спор, война, и в этой войне средства у противоборствующих могли быть сходными. Религиозные войны известны своей жестокостью. Вот как пишет к едва вступившему в 1676 году на престол пятнадцатилетнему государю Федору Алексеевичу пустозерский узник: «А что, государь-царь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илия пророк, всех переplastал во един час. Не осквернил бы рук своих, но освятил, чаю... Перво бы Никона, собаку, и рассекли начетверто, а потом бы никоняян...» А «никоняян-то» было поболее, чем готовых пострадать за верность старому обряду...

Получившему достойное образование юному царю не надо было напоминать о том, что в Библии в Книге Царств запечатлен подвиг Ильи пророка, уничтожившего разом 830 языческих пророков (!), поклонявшихся Ваалу. Просто Аввакум привел пример, как бы общеизвестный и достойный подражания. Да и сам мог пьяного монаха и топором припугнуть, и шелепами так отвозить, что тот сорвется в бега, забыв и клубок, и манатю... Был у монахов такой длинный плащ. А еще мог блудную девицу, до питья хмельного жадную, на три дня в погреб упечь без еды и питья... Вот и о «воровстве» своем, нам неведомом, в обращении к Господу напоминает... И не стесняется предстать перед читателем таким, какой уж есть, а Небесам он и без признаний известен.

И, конечно, самое тяжкое, самое тягостное, но как об этом не помнить: гари, самоожжение сотен, а может быть, и тысяч наших соотечественников, доверившихся слову огнепального протопопа, обещавшего жизнь вечную в Царстве Небесном. Сбылось ли обещанное, никто не знает. А скорбь бесконечная осталась, такое не заживает. Людей страшной смертью погибло без счета... Да и выбор у истово верующих был невелик: либо жди, когда тебя непокорного стрельцы в сруб загонят да факел поднесут, либо сам иди в огонь... Что тут скажешь неистовому проповеднику, самого себя не пожалевшему? Бог ему судья...

Но вернусь к Аввакуму-художнику под чьим пером действительная жизнь во всей своей неприкрытой подлинности обрела права публичности.

В средневековой литературе читателю преподносился в научение и к подражанию образцовый мученик, образцовый воин, образцовый князь и примерный аскет. Жизненный опыт, да еще отдельного, да еще реального человека, не был в предмете древней литературы.

Исповедальная проза, основоположником которой стал Аввакум, еще восхитит мирового читателя в творениях Гоголя, Достоевского, Толстого, Горького. И потому «Что делать?» Чернышевского, «Преступление и наказание» Достоевского, «Живой труп» Толстого, имеющие все признаки криминальных сюжетов, безусловно лежат за пределами жанра, стяжавшего признание читателя, жаждущего отдохновения от размышлений о жизни и назначении человека в этом мире.

Если бы не было «Жития» Аввакума, кто знает, нас, может быть, и можно было бы провести на мякине нынешней, так называемой исповедальной литературы, где сочинитель то исподволь, то и откровенно любит себя, страдает себе, посылая укор современникам в неумении оценить и воздать должное тонко чувствующему и глубоко мыслящему созданию, каковым является автор.

Аввакуму не к лицу художественная вуалетка, под которой читатель должен разглядеть в герое альтер эго автора. Наша письменность не знала такого рассказа от пер-

вого лица в высокой своей простоте. Хочется цитировать не фразами, не абзацами, а страницами.

«Прииде ко мне исповедатися девица многими грехами обремененна, блудному делу повинна; нача мне, плакавшея, подробну вещати во церкви, пред Евангелием стоя. Аз же, треокаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным, и горько мне бысть в той час: зажег три свечи... и возложил руку правую на пламя, и держал, дондеже во мне не угасло злое разжение...»

Стихи! Ну, скажем по-школьному: ритмическая проза. Нет, не зря Пушкин отсылал своих коллег учиться чистому и правильному языку у московских просвирен. Вот и слог у протопопа, прошедшего школу проповеди и молитвы, благозвучен, красочен и прост.

А еще плотность, удельный вес такой прозы близок, да простится сравнение, с урановым. Все познается в сравнении. У Аввакума история с девицей, блудному делу повинной, заняла всего восемь (!) строк и вошла в отечественную хрестоматию, у великого Толстого сходный сюжет в «Отце Сергие» растворился, на мой взгляд, в переливчатой и пространной назидательности.

Прав чуткий к слову Алексей Максимович Горький: «Язык, а также стиль писем протопопа Аввакума и «Житие» его остается непревзойденным образцом пламенной и страстной речи бойца, и вообще в старинной литературе нашей есть чему поучиться».

Задаюсь вопросом, чему же в первую очередь можно поучиться у Аввакума неистового? По моему убеждению — свободе! Телом вогнан в земляную яму, истязаем воеводами, обречен на муки архиереями, избиваем чуть не до смерти собственной паствой, не умеющей и не желающей жить по-божески, а дух его, запечатленный в деле и слове, каждое мгновение жизни оставался свободен.

Да, в его сочинениях удивляет еще и свобода от канона, литературной нормы. Образованнейший человек своего времени, он словно не знает, «как надо писать», просто не замечает образцов, это ли не свойство в первую очередь подлинно художественной натуры, творческого гения.

В христианстве важное место занимает культ страдания, но «Житие» Аввакума — это история неколебимого противостояния и безмерного сострадания к тем, кто не слышит Бога так, как слышал он.

Вот узнает Аввакум, что отошел от земной жизни его и ближних своих мучитель, изверг, в сына родного стрелявший, бывший в Даурии воеводой Пашков. Читаем в «Житии»: «Десять лет он меня мучил или я ево — не знаю; Бог разберет». Вот и еще один урок. Исповедальная искренность и способность увидеть себя в противостоянии врагу словно со стороны, отдав врага на суд Божий!

Непременно наступит завтра, и, может быть, преодолевая давление суетной повседневности и мелкие соблазны жизни, чтобы слышать свою землю, чтобы понимать самих себя, кто-то прочтет десять строк из Аввакума, а потом и десять страниц, а там и сотню-другую... чтобы взглянуть в Первое лицо нашей многострадальной и великой литературы.